**Н.Д. Телешов «О трёх юношах»**

Из цикла «Легенды»

**I**

 Было далеко за полночь, когда я вышел из дома. Все спало кругом, и в безмолвии ночи гулко и одиноко раздавались шаги мои по кремневой дороге. Обогнув небо, луна стояла уже над горою и ясным зеленоватым светом заливала Железноводск, по которому я проходил, и тень моя шла впереди меня, длинная, бледная и косая.

 На площади, на ступеньках церковной паперти меня ждал Халим, сидя с поджатыми под себя ногами и беспечно покуривая; возле него, понурив головы, стояли две лошади под казацкими седлами.

 - Поедем, - сказал я Халиму, разбирая поводья.

 Ночная свежесть бодрила меня. Мы сели, накрылись бурками и, не разговаривая, тронулись по дороге к базару.

 Залитый лунным светом, как серебром, базар был пуст, и его дощатые шалаши, где целый день галдят татары и казаки, стояли безлюдны и молчаливы, и всюду вокруг было тоже безмолвно и пустынно, только топот наших коней, ударявших по кремню подковами, нарушал окрестную тишину и откликался эхом в горах. И вместе с волнами свежего ночного воздуха возвращались к нам эти отклики, мешаясь с новыми звуками топота. Гок-гок-гок! - сухо и отчетливо звучало в долине, и было похоже, что скачет много всадников. Под лунным сиянием развертывалась перед нами вся ширь с лугами и холмами и было видно далеко окрест.

 Миновавши базар, Халим повернул влево по лесной тропинке. Сразу стало темно, душно и узко, и лошади пошли шагом, то шлепая ногами по лужам, то звонко задевая подковой о камень или спотыкаясь о корни. Кривой и частый лес, обступивший тропинку, проникнутый лунным светом, становился все глуше и темнее, и только листья наверху, колеблясь от ветра, то сверкали, то чернели, то крутились мелкими блестками, и казалось, что в лесу идет волшебный серебряный дождь. Наконец, стало совсем темно. Защищая глаза от веток и голову от сучьев, нависавших над нашей тропинкой, мы ехали шагом, почти пригнувшись к гриве коней, и часто впереди себя я слышал шум и шелест, а иногда и треск отстраняемого Халимом сучка, и еще ниже и крепче пригибался я к шее лошади.

 Время шло. В лесу было совершенно черно и душно, и я не подозревал, что в открытых долинах поднялся уже предрассветный ветер. Первый порыв его встретил меня врасплох, едва мы выехали из леса на поляну, и чуть не сорвал с головы фуражку.

 - Аида! - вскрикнул Халим и, ударив нагайкой коня, галопом поскакал вперед по широкой зеленой луговине.

 У самой подошвы Бештау стояла сторожевая будка лесника; здесь мы остановились и сошли с коней.

 Перед нами высилась крутая трехглавая гора, на вершину которой нам предстояло подняться.

 - Как-то мы доберемся, - сказал я, глядя на кручу.

 Сидя на корточках и привалившись к забору сторожки.

 Халим закуривал и только тогда ответил, когда уже пустил на ветер первый клуб дыма.

 - Чего ж не добраться - на то человеку и ум дан, чтобы он знал, когда, что и как делать, - загадочно проговорил он, щурясь на вершину.

 Я стал ходить взад и вперед возле лошадей, разминая уставшие ноги, а Халим все сидел, курил и что-то обдумывал. Наконец, он спросил меня, что стал бы я делать, если б царь сказал мне: «Или я отрублю тебе голову, или ты достанешь мне Коня необыкновенной масти - ни вороной, ни белой, ни серой, ни рыжей, ни караковой, ни гнедой, ни чалой, ни буланой, ни пегой, ни саврасой и ни одной из тех, какие существуют на свете.

 - И красить чтобы нельзя! - строго подтвердил Халим.

 Я сознался, что при таких условиях мне пришлось бы остаться без головы. Халим усмехнулся.

 - А я бы вот как сделал, - проговорил он с укором, - я послал бы сказать, что конь у меня готов, и чтоб за ним прислали, только не в понедельник, не во вторник, не в среду, не в четверг, не в пятницу, не в субботу, не воскресенье, а в любой другой день, когда будет угодно.

 И Халим засмеялся мелким хитрым смехом и глядел на меня восторженными глазами не то победоносно, не то вопросительно.

 **II**

 Далее дорога шла уже круто в гору, направляясь ломаной линией то вправо по косогору, то влево, то опять вправо, но все выше и выше над долиною.

 Вскоре мы опять въехали в лес, которым оброс, как щетиной, Бештау. Начало опять темнеть, и через четверть часа, когда луну закрыло облако, мы перестали уже видеть что-либо, кроме слабых очертаний лошадиной головы, к которой я плотно прижимался, спасаясь от веток, бивших меня по бокам и фуражке.

 Лошади тяжело дышали, осторожно и медленно ступая по крутизне; из-под ног их сыпались мелкие камешки, с шумом катясь куда-то в овраг.

 - Халим! - то и дело окликал я своего спутника, затерявшегося во мраке.

 Я ничего не видел. Перед глазами стояла тьма, и только по сторонам, точно разбросанный фосфор, зелеными искрами блестели тысячи светляков. Луна, на минуту выглянув из-за тучи, осветила вдруг черную пропасть вправо от нашей тропинки, по которой осторожно пробирались лошади, да влево страшную чащу мелкого, мрачного и кривого леса.

 Проехали и этот лес и снова очутились на лужайке. Она была маленькая, на половине горы. Книзу от нас сбегали овраги, а вверх змеилась дорожка, опять так же - ломаной линией, до самой вершины.

 Ветер усиливался с каждой минутой. Резче и яростней нападал он на нас, точно не хотел пускать выше. Его порывы немного сдерживал еще правый конус горы; но когда мы поднялись на площадку, совершенно открытую, ветер завыл и рванул с такой силой, что бурка моя взвилась и накрыла меня с головою. Насилу я выбрался из-под нее.

 Медленным шагом, с ноги на ногу, поднимались лошади в кручу. Начинало светать. Оставался последний подъем - самый крутой и трудный Мы были одни, на узенькой тропинке, среди воздуха и ветра, и лес был ниже нас и казался отсюда кустарником. Халим часто оборачивался ко мне и что-то кричал, но слов не было слышно. Вокруг все шумело, свистело, визжало и ныло. Это была дикая, ни с чем несравнимая музыка! Врезаясь в высокую траву, густую и пахучую, ветер нырял по ней со свистом и завыванием. Казалось, иногда он застревал в ней и запутывался, но вдруг вырывался на волю, злился и радовался, пел и плакал сквозь смех. Шаталась и стонала под ним вся трава, визжал он и сам, раздувая веером конские хвосты и дыбом поднимая гривы, и то бросался к небу, то стремглав падал оттуда в овраги, то, окружив вершину, бешено вертелся вокруг нее кольцом, толкая нас в спину, в грудь и в бока.

 Невольно закрыл я глаза. Глядеть становилось больно и невозможно. Бросив поводья, я держал лишь фуражку, надвинутую ниже бровей, всю измятую ветром, и почти не заметил, как очутился на самой вершине.

 Мы сошли с коней и, оставив их щипать траву, вошли в яму, вырытую здесь для спасения от ветра. Яма была невелика, но, когда мы вошли в нее, ветер носился уже над головами и не мешал. Разостлав бурку, я лег. В горле пересохло, хотелось пить.

 - Давай кумыс, - попросил я Халима, и он пошел отвязывать от седла мешок с провиантом. Было уже светло. Наступало утро.

 С вершины было видно вокруг на сотни верст. Это была оплошная зеленая долина, расстилавшаяся до самого горизонта, и мелкие горы на ней - Машук, Железная, Змеевка - казались отсюда копнами сена, разбросанными по степи. Вдалеке, на горизонте, виднелась снеговая цепь кавказских гор е Эльбрусом и Казбеком, похожая на гряду далеких серых облаков. Кое-где в окружности светились озера, и словно белая нитка, извивалась по зелени какая-то речка, должно быть Подкумок; а в стороне над самой чертою земли висела бледная луна, без лучей, угрюмая и усталая"

 Халим наломал хворосту и развел костер. Сучья трещали, искры и дым относило в сторону. Нанизывая на вертел куски баранины, Халим сидел на корточках возле огня, ко мне спиною, и что-то тихонько пел - невнятное и заунывное, с жалобными переливами, точно нараспев плакал.

 - Про что поешь? - спросил я.

 - Про горы. Песня такая.

 - Хорошая?

 - Кто знает! - сказал Халим.

 - Может быть, этого никогда и не было. А может быть, это и правда: кто знает!..

 Я подсел поближе к костру.

 Под треск сырых сучьев и под шипенье шашлыка, который пенился и розовел на вертеле, Халим пересказал мне свою песню о давно прошедшем - о незапамятных временах, когда еще не было снега и льдов на Кавказском хребте и громады гор стояли с обнаженными каменными вершинами.

 **III**

 Люди, жившие у подножия гор, своими злодействами и непокорностью воле божией прогневили аллаха. И в великом гневе своем он приказал солнцу истребить этих людей. И солнце остановилось: не стало ни вечера, ни ночи, ни утра; ветер затих, воды загнили, и пересохли все ручьи и колодцы. А палящее солнце все стояло на полудне, и земля трескалась под его лучами, и все изнемогало от жажды и зноя.

 "Всех истреблю грозой и огнем! - восклицал во гневе аллах.

 - Только троих из вас пощажу: Селима, Шахана и Ал и бека!"

 И призвал аллах на гору этих юношей и велел выслушать им свою великую волю.

 Когда Селим, Шахан и Алибек, повинуясь воле аллаха, отправлялись на гору, голодный народ кричал им:

 - Остановитесь и умирайте вместе с нами, как велит дружба, о которой вы пели нам в своих песнях!

 Трое юношей были самые красивые, самые добрые, самые честные - лучшие из всех людей, и умели петь такие песни, каких теперь никто не знает и никто не поет.

 Плакали юноши, расставаясь с народом, плакали горькими слезами, а люди проклинали их за измену и бросали камнями в них и пускали стрелы, но аллах хранил своих избранников. И никто, кроме них, не мог ступить на гору, а кто ступал, тот падал мертвым. Между землею и небом стояли тучи недвижимой пыли, и солнце кровавым шаром висело в воздухе, и весь горный хребет окутался мглою, и мгла эта прятала юношей от стрел и каменьев.

 - Селим, Шахан и Алибек! - услышали юноши, когда взошли на голую каменистую вершину.

 - Вас троих я хочу спасти. Идите вниз по ту сторону гор, а сюда я пошлю молнии и громы и истреблю нечестивый народ!

 Но они, упав на колени, сказали:

 - Обрати гнев твой на нас троих, великий аллах, а людей пощади и возврати им воду, без которой они страдают. И юноши стали просить аллаха, чтоб он принял их в жертву себе.

 - Тогда поймут люди, что мы погибли за них, не нарушая дружбы и верности, о которых мы пели им. И не станут нас проклинать, а поймут и сделаются дружней и добрей и будут сами петь о нас своим детям, и дети их будут добры и верны и станут лучше, чем мы все трое вместе.

 - Зачем погибать лучшим за худших? - воскликнул аллах. - Пусть погибают дурные!

 Но юноши, не поднимаясь с колен, повторяли все то же:

 - Обрати гнев твой на нас, а тех пощади. Казни нас самою лютою смертью, но в долины пошли воду, которая не иссыхала бы вечно.

 Нахмурился великий аллах, и чело его стало мрачно, как зияющая горная пропасть, и дал он знак холодным ветрам и поднял бурю над горами такую страшную и студеную, какой не бывало вовеки. И солнце, стоявшее недвижимо, тронулось и быстро пошло к закату, и в долине, обреченной на гибель, после долгого зноя вдруг повеяло влагой и ночною прохладой.

 - Слава великому аллаху! - воскликнули юноши в ожидании страшной к казни.

 И вдруг почувствовал Селим, что кровь его стынет и сердце леденеет, а сам он весь растет и поднимается к небу все выше и выше, -и вместо рук у него уже тянется туман, а вместо ног клубятся облака; холод и лед ощущает он в сердце и, собирая последние силы, кричит на весь мир:

 - Слава великому аллаху!

 И расплывается в небесах седою косматою тучей. И студеные ветры подхватывают тучу, рвут ее в мелкие белые хлопья и снегом разносят по вершинам всего хребта, где никогда не бывало раньше ни с гужи, ни снега.

 А Шахан и Алибек, слыша последний крик товарища, без страха и восторженно вторят ему: "Слава великому аллаху!"

 И чувствует сейчас же Шахан, как сердце его вдруг заледенело. И видит он, что вырастает, подобно Селиму, и поднимается к небу. Уже туман стелется вместо рук, и облака клубятся по пояс, и лед сковывает дыхание. "Слава великому аллаху!" - кричит он в последний раз и хлопьями снега рассыпается по вершинам гор. И Алибек, приветствуя гибель товарища, славит в ответ имя великого аллаха.

 Заледенел, заклубился туманом, наконец, и Алибек, и вскрикнул он с высоты небес, рассыпаясь снегом:

 - Слава великому аллаху! И все замолкло.

 Только снежная вьюга бушевала в горах, заметая их и покрывая вершины вечными льдами. Крутилась и выла метель всю ночь; всю ночь ревел ураган, какого никто не слыхал доселе, и в ужасе думали люди, что наступил конец мира.

 А когда наутро ясное солнце, уже не грозное и палящее, а радостное, взошло на небо и пригрело наметенные снега, с гор побежали с веселым шумом реки и ручьи - и жизнь вернулась в долины на вечные времена.

 И теперь, кто всходит на высокие горы, где среди снега и льдов воют вьюги, тот слышит их долгую однозвучную песню: "Помнишь ли ты, человек, Селима, Шахана и Алибека? А если помнишь, то почему же ты забываешь добро и правду и не любишь людей, как любили их трое юношей?"

 И лежат снега на вершинах уже тысячи лет, посылая людям воду, чтобы им не умереть от жажды, и люди счастливы, но вспоминают трех юношей только те, которым высоко на горах поет о них вьюга вечную однозвучную песнь.

 Халим замолчал... Молчал и я. Только потрескивал костер да ветер шумел над головою, иногда выхватывая искру и унося ее вместе с дымом и гася на лету. Между тем восток разгорался... Выше и шире вырастали над горизонтом полосы света, ярче и ярче они желтели и розовели, и шествие их было величественно и дивно. Заря пылала... И вот уже под заревом ее рдело полнеба, и прямые золотистые лучи короной стояли в воздухе.

 - Солнце! Солнце! - невольно крикнул я, выбегая из ямы на голую вершину - навстречу маленькой ярко-красной полоске, показавшейся над горизонтом, как кусок раскаленного железа. Не прошло минуты - и солнце выплыло большим красным шаром, разгораясь все ярче и заливая золотом небо и землю. И вся снеговая цепь гор, видневшаяся как далекая туча, и ледяной Эльбрус, казавшийся серым, теперь стояли розовые и сияющие на фоне ясного небосклона.

 Лошади наши щипали траву, Халим, не оборачиваясь, дожаривал шашлык, и, стоя один на высоте, я смотрел на дивные картины, развернувшиеся кругом меня, полные жизни, красоты и вечности.

 Чистая, тихая радость наполняла мне душу, и в шуме ветра мне чудилась заунывная песнь, долетавшая до меня с далеких ледников Эльбруса - песнь о трех юношах, песнь о том, как погибают лучшие люди за народное счастье.